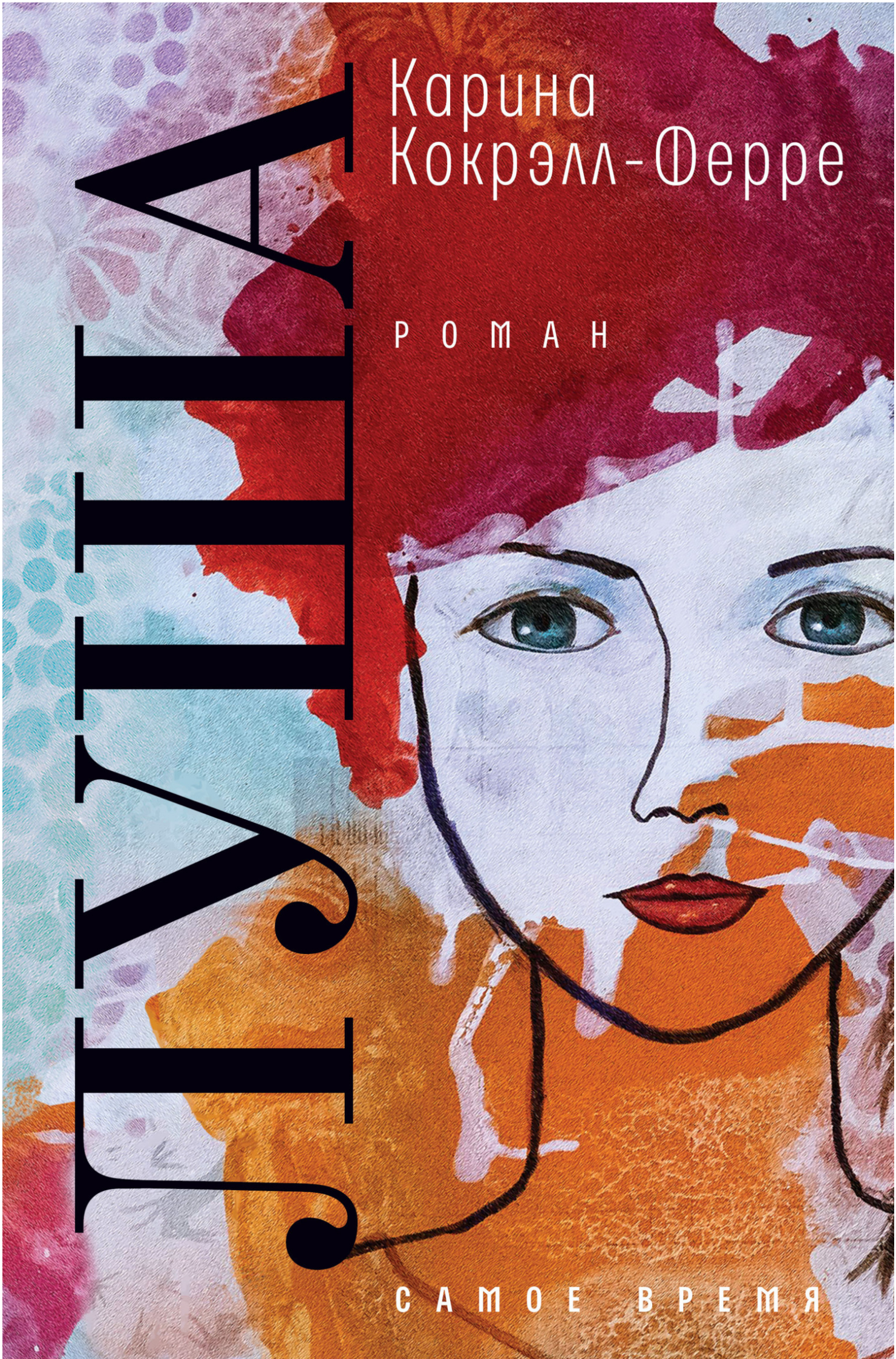
ЛИТА
Карина Кокрэлл-Ферре
РОМАН
САМОЕ ВРЕМЯ

Самое время!

Карина Кокрэлл-Ферре

Луша

«ВЕБКНИГА»
2023

Кокрэлл-Ферре К.

Луша / К. Кокрэлл-Ферре — «ВЕБКНИГА», 2023 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2425-7

1970-е. В городе Вороже бесследно исчезает одиннадцатилетняя школьница Луша Речная. 1933 год. Кембриджский ботаник Кристофер Уэскер, с женой Ханной и маленькой дочерью Алисой, едет в Советский Союз, чтобы принять участие в создании грандиозного Города-сада. Эти события оказываются связаны самым неожиданным образом. После многих десятилетий разлуки Ханна возвращается в Ворож в надежде найти дочь, в шестилетнем возрасте попавшую в детский дом.

ISBN 978-5-9691-2425-7

© Кокрэлл-Ферре К., 2023
© ВЕБКНИГА, 2023

Содержание

Часть I 6
Глава 1 6
Глава 2 18
Глава 3 25
Глава 4 28
Глава 5 30
Глава 6 35
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Карина Кокрэлл-Ферре
Луша

«Это, должно быть, тот лес, – сказала она себе в задумчивости, – где исчезают имена».

Кто же я теперь? Я должна вспомнить.

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье

– Ты понял, кто это, эта бельевщица Таня?

– О, конечно.

Б. Пастернак. Доктор Живаго

серия
«самое время!»

Художник
Валерий Калныньш

ВРЕМЯ

© Кокрэлл-Ферре, Карина, 2023
© «Время», 2023

Часть I
Девочка в «отцепленном вагоне»

Глава 1
Шахиня Ирана. Инцидент

Шестнадцатого сентября 1972 года в жизнь Луши Речной, или, как ее прозвали в школе, Пропавшей Лушки, ворвалось событие, которое изменило все окончательно.

Началось с того, что учителя в ее школе перестали ходить по коридорам цок-цок-цок, а стали бегать с глазами навыкате, как будто где-то что-то загорелось или кто-то упал в обморок и понадобилась скорая.

Одновременно с этим в школе высадился многочисленный десант хмурых небритых мужчин и толстых горластых женщин, все в заляпанных краской комбинезонах. Матерясь и подгоняя друг друга, они покрывали школьные поверхности сияющей белизной, меняли светильники, выносили и увозили исписанные неприличностями столетние парты (их крышки откидывались со звуком выстрела). Вместо парт расставляли бесшумные столы из светлого дерева. В одном из классов на двери появилась непонятная табличка «лингафонный кабинет». Там змеились провода с наушниками, а из столов торчали невиданные приборы с лампочками и кнопками. Проход в столовую вообще перекрыли и, судя по звуку молотков, дрелей и многочисленным энергичным голосам, перестраивали целиком.

Наконец, директриса собрала всех в актовом зале и объявила голосом, нервно дрожавшим от ответственности, что через два дня (всего через два дня!) их школу посетит шахиня Ирана, находящаяся в нашей стране с официальным дружественным визитом, вместе со своим шахом.

Директриса впервые путалась в причастных оборотах, и брошка на ее груди прыгала, как живая.

Далее директриса объявила, что «уроки отменяются и начинается подготовка к приему высоких гостей», а в фойе вывесят список учащихся, которые освобождаются от посещения школы в день визита.

И не просто освобождаются: «явка воспрещается», и все, кто попытается проникнуть из любопытства, получат строгий выговор с занесением в личное дело, а хуже этого и быть ничего не могло.

Лушкина фамилия числилась в списке «освобожденных» первой.

Ко всем школьным делам Пропавшая Лушка давно уже относилась как к неприятной неизбежности и, скорее всего, с радостью осталась бы в этот день дома с матерью, но случилось так, что накануне она подслушала разговор, после которого приняла решение обязательно, во что бы то ни стало, вопреки всему в школу пробраться.

Произошло это так. Историчка, как начался урок, послала ее за картой в учительскую. Там были только физрук и молоденькая биологичка Тамара Андреевна. Она пила чай, обняв чашку тонкими пальчиками и облокотившись на подоконник. На Лушу внимания не обратили. Полускрытая географическими и историческими полотнищами, развешанными на гвоздях, она искала нужное и услышала, как физрук, наклонившись к биологичке, сказал:

– Ох, ну и роскошество в подсобку привезли, Томочка. Ароматы на весь коридор. И бананы тебе, и ананасы, и апельсины! Прямо индийские джунгли. В общем, коммунизм наступил! – и добавил, понизив голос: – Михална сказала: пока-то все под замком, но если что после визита останется, распределят особо заслуженному преподавательскому составу. Ну и давка

будет! Хе-хе-хе. Так я уж постараюсь, чтобы наши шакалы, Томочка, вас как новенькую не обошли. Вы бананы-то хоть раз видали? Чудо-фрукт. У меня друг в Одессе, штурманом плавает, так вот он рассказывал, в Африке ими все лечат, даже рак. Не смейтесь, не смейтесь.

Они еще что-то говорили, а Лушка решила: сейчас или никогда! Это единственный шанс. «И бананы тебе, и ананасы, и апельсины!» Это же все те диковинные плоды из Стеклянного дома, о которых рассказывала Ханна! И тогда можно не рисовать их по описанию Ханны. Увидеть самой. Почувствовать запах. Может, даже дотронуться и попробовать. Ими все лечат. Может, удастся принести Ханне, и это ее спасет?

В назначенный день Лушка отгладила белый фартук и новый галстук, приколола особенно пионистый белый бант, чмокнула накормленную мать, подхватила под мышку свой портфель со сломанным замком и понеслась в школу.

Первоначальным планом было проникнуть в школу через разбитое окно мастерских. Фанерный щит там еле держался. Окно выходило в самый дальний и облупившийся до кирпичей угол, где сваливали собранный металлолом и прятались курящие мальчишки. Лушка не раз уже пользовалась этим лазом, когда опаздывала, чтобы избежать быть записанной у входа дежурным учителем.

Однако, приблизившись к школе, поняла, что об этом нечего и думать. Весь квартал окружили здоровенные лакированные «Волги», вход в ворота загораживали два больших автобуса. К школе никого не подпускали люди в одинаковых костюмах с одинаковыми синими галстуками и милиционеры в красивых формах с золотистыми погонами и поясами поверх кителей. Правда, Лушка все-таки попыталась пройти как ни в чем ни бывало через главные ворота, но была остановлена криком:

– А ну стой! Ты куда это?

Она постаралась скорчить самую жалобную мину, как беспризорник из «Путевки в жизнь»:

– Товарищ милиционер, пропустите, я опоздала, будильник не прозвонил. Меня ждут там. Мне влетит! Из пионеров исключат. Мне стих поручили читать для приветствия, а я опозда-а-ала.

Она так убедила себя, что заревела по-настоящему.

К милиционеру подошел человек в костюме:

– Что тут у тебя, сержант?

– Да вот, растяпа, опоздала, говорит.

– Как фамилия? – Второй с профессиональным подозрением разглядывал ее безукоризненный белый фартук, новый галстук, пионистый бант.

– Свиридова, Оля. – Заметив, что никаких бумаг у стражей в руках не наблюдалось, она назвала фамилию председателя совета дружины, которая точно бы в списках была. – Ну, пожалуйста, дяденька, пропустите. Они уже в актовом зале, наверное. Меня Нина Константиновна убьет теперь. Я всех своих товарищей подвела-а-а.

Плакала она реалистично.

Двое переглянулись.

– А ну, портфель сюда дай.

Зная, что уроки отменены, Луша дома выложила из портфеля все учебники, тетради и дневник (с ее настоящим именем на обложке!), а положила извечный блокнот с карандашами и книжку «Сказки братьев Гримм», к которой как раз рисовала свои картинки.

– Дяденьки, товарищи, я стих для шахини должна приветственный читать. Мне выговор в личное дело запишут, меня теперь в комсомол никогда в жизни не приму-у-ут…

– Какой? – спросил тот, что в галстуке.

– Что «какой»?

– Стих какой должна читать? А ну, читай.

Лушка растерялась, но быстро нашлась:

– Так он иностранный. Это ж нам для шахини сказали заучить.

– Читай, говорю.

– Прям здесь?

– А где еще? Читай, раз учила.

– Так иностранный он…

– Вот и читай иностранный.

Скучавшие стражи переглянулись, довольные неожиданному развлечению.

И Лушка зачастила единственный стих, который знала, из пролога к «Алисе»:

– All in the golden afternoon
Full leisurely we glide;
For both our oars, with little skill,
By little arms are piled…[1]

Страж в костюме одобрительно хмыкнул:

– Ладно, хватит. А про что стих, знаешь?

Лушка похолодела, но отступать было некуда:

– Про мир во всем мире. И дружбу народов. Дяденьки, ну пожалуйста! Меня папка убьет. – Она начала часто, истерически всхлипывать.

– Что ж ты, растяпа такая, вон и замок сломан! – сказал тот, что в костюме, возвращая ей портфель. Он явно был тут главным. – Ладно, сержант, это из ковровских, растяпа. Беги давай! Будешь знать, как опаздывать.

В вестибюле и коридоре тоже стояли люди в костюмах, все они держали черные коробочки радио, с которыми разговаривали, и никто ее не остановил. Гудение голосов неслось из актового зала, где шла генеральная репетиция. Оттуда слышался срывающийся от волнения голос Нины Константиновны, и там Лушке делать было нечего. Она решила дождаться приезда шахини в столовой, подальше от актового зала.

С опаской она приоткрыла дверь столовой …и остолбенела.

Начищенный паркет, занавески с лилиями, светлые столики, как в кафе, накрытые на четырех человек! Вместо привычных алюминиевых ложек в жировой смазке благородной нержавейкой поблескивали невиданные ранее в этих стенах вилки и ножи. Взгляд Лушки упал на новую стойку. Бананы и ананасы!

Разложенные красивыми грудами, они походили на огромные еловые шишки. Точно как в передаче «Вокруг света». Луша опустила на пол портфель и осторожно погладила шершавую поверхность ананаса, дотронулась до острых листьев и вдохнула ни на что не похожий аромат. Ей тут же захотелось все это нарисовать, но она вздрогнула, вспугнутая человеческим голосом:

– Ну что, они уже идут? Тебя предупредить прислали?

Из-за груды румяных булочек и диковинных фруктов возникла белокурая красавица в синем платье и кружевной наколке. Тончайшая талия перехвачена кружевным передником. Это была девушка, сошедшая с плаката «Летайте самолетами “Аэрофлота”». От «теть Нюры» и «теть Клавы» в их фартуках с кисельными и подливочными пятнами не осталось и следа.

Луша что-то пробормотала.

– А, ну тогда хорошо, тогда у нас время еще есть.

– А мне банан можно? – замирая от собственной смелости, спросила Луша.

[1] Июльский полдень золотойСияет так светло,В неловких маленьких рукахУпрямится весло,И нас теченьем далекоОт дома унесло.(*Пер. Д. Орловской)*

Красавица улыбнулась.

– Бери. Хоть два.

– А сколько стоит?

Лушка подумала, что внесенных отцом на ее школьные обеды шести рублей, наверняка, не хватит на бананы.

– Ты что, с Луны? Нисколько, бесплатно все.

– А можно два?

– Ну все, бери и иди.

– А вы из Москвы?

– Да, из «Москвы».

Лушка осторожно, словно боясь, что от прикосновения они могут исчезнуть, взяла два зеленоватых плода и аккуратно положила их в портфель между альбомом и «Братьями Гримм».

– Скажи там, чтобы кого-нибудь прислали, когда сюда пойдут.

И девушка с плаката исчезла за белоснежной дверью школьной кухни, а может, просто растворилась в воздухе.

Гул и голоса слышались ближе, и Лушка, выйдя в другую дверь столовой, оказалась в главном коридоре, среди выстроенных по стенке вдоль красной ковровой дорожки серьезных и красивых мальчишек и девчонок, которых она не знала.

– Вас откуда привезли? – спросила Лушка одного взволнованного мальчишку, который все время шептал про себя, повторяя заученные наизусть слова.

– Мы из спецшколы. Шахиню встречаем. Отстань, мне некогда.

И он продолжил что-то шептать. Она прислушалась: «happiness to all Soviet childrens» и что-то еще.

– Не «childrens», а «children», – поправила она.

Мальчишка остановился, покосился на ее портфель под мышкой:

– Не мешай. Иди отсюда.

– Сам иди отсюда. Это моя школа.

– Замолчи! Они уже здесь! Идут!

В тишине по красной дорожке к ним приближались официальные лица. Это могла быть только *она*. Шахиня улыбалась из-под невиданной круглой шляпки. Маленькие лаковые лодочки несли ее по красной дорожке все ближе, прямо к Луше. А позади следовала свита.

Лушка оцепенела и вжалась в стену, обнимая портфель.

Шахиня останавливалась, улыбалась, слушала звонкие, взволнованные голоса учащихся английской спецшколы про «родную Коммунистическую партию Советского Союза», про «счастливое детство советских детей», про «любовь к советской Родине» и двигалась дальше, пока ее взгляд не упал на Лушкин портфель со сломанным замком, распухший от бананов, и обгрызенные ногти его хозяйки. Катастрофа. На фоне белой стены коридора, залитого безжалостным светом новых люминесцентных ламп, маячило столь же белое лицо директрисы.

– What is your name, dear child?[2] – весело спросила шахиня.

– My name is Lousha.

– Such a nice name. Tell me, do you like reading?[3]

– Yes, very much so[4].

– What is your favourite book, Lousha?[5]

Оцепенение прошло, не ответить было невежливо.

---

[2] Как тебя зовут, дитя мое? (*англ.* – Здесь и далее перевод с английского, если не оговорено. – *Ред.*)

[3] Хорошее имя. Скажи, ты любишь читать?

[4] Да, очень.

[5] Какая книжка у тебя любимая, Луша?

– I think… It must be… «Alice»… «Alice in Wonderland» and «Through The Looking Glass». Have you read it?[6] – ответила Луша, во всех смыслах совершенно припертая к стенке, но счастливая, что удалось не только раздобыть бананы, но и поговорить с самой шахиней!

Шахиня засмеялась, и все вокруг засмеялись тоже.

– I have. They were my favourite books too. But tell me, which out of two do you like best?[7]

– When I was young, I liked «Alice in Wonderland», but now, when I am older, I think I prefer «Alice Through the Looking glass»[8], – ответила Луша.

– Why is it so?[9]

– I think because you want to cry when it ends[10].

– But it ends well as Alice becomes the Queen[11], – сказала Шахиня уже без улыбки.

– But when Alice becomes the Queen, she becomes…she becomes… alone![12] – наконец, вспомнила слово.

Шахиня посмотрела на нее внимательно, по-другому.

– Зысиз аур бест стьюдент оф инглиш, – сумела выдавить из себя директриса со страдальческой улыбкой.

Шахиня продолжала смотреть на Лушу.

– I must say your pronunciation is superb. Very English indeed. My compliments to your teacher[13].

Гостья оглянулась на какую-то очень похожую на нее женщину и сказала ей что-то на своем языке. Та согласно закивала.

– Your school bag is broken[14], – улыбнулась шахиня.

– Yes, it happened recently, but it is a new one. I am sorry[15].

Шахиня засмеялась. Вокруг нее, по протоколу, засмеялись тоже.

– Listen, would you like to come to Tehran as my guest?[16]

Лушкины глаза широко раскрылись.

– I would of course, but…[17]

– So it is settled. My assistants will take care of all the arrangements for an invitation. Nice meeting you, Lousha[18].

Луша, кажется, кивнула, но точно не помнила.

Шахиня двинулась дальше, слушая фразы о светлом будущем советских детей.

На Лушку нацелилось несколько очень внимательных взглядов сопровождающих шахиню людей в одинаковых костюмах с одинаковыми галстуками.

---

[6] Я думаю… Должно быть, «Алиса». «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». Вы их читали?

[7] Да, я их читала. Но скажи мне, какая из двух нравится тебе больше?

[8] Когда я была маленькой, мне нравилась «Алиса в Стране чудес», но теперь, когда я старше, мне больше нравится «Алиса в Зазеркалье».

[9] Почему же?

[10] Потому что хочется плакать в конце.

[11] Но ведь сказка заканчивается хорошо, ведь Алиса становится королевой.

[12] Но когда Алиса становится королевой, она остается одна.

[13] Должна признать, твое произношение прекрасно. Совершенно английское. Передай комплимент своему учителю.

[14] У тебя портфель сломался.

[15] Да, сломался недавно, хотя и новый. Извините.

[16] Послушай, ты не хотела бы однажды приехать в Тегеран как моя гостья?

[17] Конечно, но…

[18] Тогда договорились. Мои помощники оформят приглашение. Было приятно познакомиться, Луша.

* * *

Инцидент во время визита шахини Ирана в среднюю школу Ворожа оказался настолько серьезным, что полковник Клыков прямо из больницы, ночью, в кителе поверх пижамы, прибыл в кабинет и срочно вызвал к себе Тихого.

Три окна его кабинета тревожным маяком светились высоко над ночным городом.

В кабинете гулко, как часовой механизм бомбы, отстукивали настольные часы и удушливо пахло мастикой от свеженатертого паркета. Две бронзовые овчарки, как живые, в ярком верхнем свете охраняли барабан циферблата на письменном столе, массивном, будто постамент памятника.

В ночном здании было тихо. Впрочем, здесь всегда было тихо, даже днем. Красные с зеленым ковровые дорожки в бесконечных коридорах заглушали звук человеческих шагов. Казалось, люди здесь ходят на мягких лапах.

В кабинете почти ничего не менялось с начала двадцатого века, кроме портретов очередного вождя. Оружейным блеском в свете люстры отливала артиллерийская батарея из трех черных телефонов. Люстру включали только для особых совещаний, обычно Клыков обходился настольной лампой с абажуром зеленого стекла, а днем сквозь высокие окна света было достаточно. Бронзовая тонкогубая голова с острой бородкой, стоявшая меж двух высоких окон напротив двери, смотрела на входивших рептильно-пристальным взглядом, отчего впечатлительным становилось не по себе. «Железный Феликс». Талантливая работа.

Фигура широкоплечего полковника соревновалась бы монументальностью со столом, если бы все не портила гримаса боли. Казалось, ему трудно держать открытыми одутловатые веки. Клыков недавно был срочно доставлен в реанимацию с приступом, а оттуда – на операционный стол. В учреждение его привез безотказный шофер Ганин. Привел, усадил, заварил крепкого чая и ждал сейчас внизу, балагуря с ночной охраной на вахте у входа.

– Ну… докладывай! Что… стряслось? – раздался сип задыхающегося больного животного. – Москва доклад… требует. Срочно. С опера…ционного стола стащили… черти. Я тебя оставил… за главного. Что стряслось-то, а, Тихий?!

Клыков положил под язык таблетку и шумно отхлебнул остывшего чаю. Серебряный подстаканник со спутником, как и часы, был подарком сослуживцев.

– Николай Иванович, во время официального визита шахини Ирана в школу номер три возникла нештатная ситуация, могущая повлечь нежелательные последствия, – раздался обесцвеченный голос того, кого полковник назвал Тихим. Тихий сидел по левую руку начальника за длинным столом для совещаний. Перед ним – хорошо освещенная верхним светом папка из черной кожи. – Я подготовил подробный доклад, Николай Иванович… Разрешите…

Тихий выглядел моложе, но его трудно описать, как трудно описать дым. Ему могло быть и двадцать девять, и сорок. Цвет его волос полностью сливался с дубовыми панелями на стенах. Глаза цвета мокрого цемента были из тех, что забываются моментально, и только руки, которыми он мимолетно и немного нервно дотрагивался до своей кожаной папки, были весьма примечательны. Очень белые, тонкие пальцы с хирургически бесцветными ногтями, мягкой бескостностью напоминали вкрадчивые движения щупалец.

– Да не тяни!..

– Инцидент состоит в следующем. Учащаяся школы Лукерья Николаевна Речная…

– Лукерья?

– …Лукерья Речная, тысяча девятьсот пятьдесят девятого года рождения, вступила в несанкционированную беседу с шахиней Ирана во время ее визита в школу номер три Центрального района. И хотя беседа была инициирована целиком высокой гостьей, Лукерья про-

изнесла самостоятельный текст, который мог быть истолкован как содержащий критику качества советских товаров.

Лицо Николая Ивановича немного ожило. Подтянулись бледные брыли в седой щетине.

– Черт побери! О… о чем говорила?

– Лукерья заявила, что у нее сломался недавно купленный в советском магазине портфель. Который она продемонстрировала шахине.

– О чем еще?

– Про… книжки.

Тихий сознавал, что прозвучало глупо.

– Какие книжки? Антисоветчина?

– Нет.

– И все? Так из-за чего сыр-бор? Погоди… Кто-кто визировал школьников… Коврова?

– Да, она. Как полагается, на всем пути делегации были расставлены учащиеся английской спецшколы номер один с подготовленным текстом ответов на возможные вопросы. Я утверждал текст. Коврова организовала подвоз детей по инструкции.

– Ну, может, забыла девчонка слова… ну и… понесла отсебятину? Антисоветчины-то не было… Чего гроза-труба?

– Товарищ полковник, дело в том, что…

Тихий замялся.

– Что? Не мямли.

– Лукерья Речная не состояла в списке допущенных к встрече… Мы выясняем, как она оказалась в школе…

Гнев и ужас окончательно раскрыли глаза полковника.

– Твою мать… Ты понимаешь, что несешь?! Не состояла в списке… Москва… поручила… нам с тобой… всего один объект… один объект… на пути делегации… Твою мать! Один объект… одну школу сраную! Какие *инциденты*, а? …Шахин-шах… и шахиня! Официальный визит… и ребенок – девчонка! – у тебя… за охраняемый периметр… пролезла, а? И Москва… Москва об этом знает. Да лучше бы я… лучше б я сдох! Сдох под ножом… Это ж диверсия, а? А если бы у этой… Лукерьи этой… был пистолет, а?

– Николай Иванович…

Полковник достал из кармана смятый платок и промокнул капли холодной испарины на сероватом лбу.

– Что «Николай Иванович»?! Чему вас учат… блядь… в ваших высших школах?! Периметр… не умеете обеспечить! Тьфу!

Тихий с непроницаемым выражением лица смотрел, как полковник достал из кармана пузырек, в котором погремушкой перекатились таблетки, отвинтил пробку, положил таблетку на сизый, растрескавшийся язык и запил чаем. Тихий воспользовался паузой.

– Николай Иванович, есть одно очень подозрительное обстоятельство. Английский, на котором говорила Лукерья Речная, был слишком хорош…

– Ты мне… английским своим… зубы не заговаривай! Ты мне скажи… как девчонка… в охраняемый периметр попала, а? Федр Палыч звонить будет… с минуты на минуту! Что я ему скажу?! Что мы… говно размазанное, а не чекисты?! А ты, блядь, с английским своим!

Тихий опустил глаза и ответил с неожиданной твердостью:

– Николай Иванович, как раз английский – самое подозрительное обстоятельство. В «вышке» нам преподавал британец. Как вы знаете, я служил в лондонском посольстве два года, и я совершенно уверен…

Клыков ударил кулаком по столу и тут же задохнулся и скрючился от боли. Веки Тихого не дрогнули. Он наблюдал за корчами Клыкова.

– Эх, Анатолий… подставил… обоих нас подставил… без ножа зарезал. Я на пенсию собирался… весной, – сказал полковник уже тише, спокойнее, отдышавшись. – Обосрались мы… вся работа насмарку… Оперативник из тебя… Тебе только в кабинете… карандаши точить! Со мной Москва раньше никогда так не разговаривала. Как мне теперь объяснять Федр Палычу, что девчонка, школьница… сама, без помощи и подготовки… и ее никто не пресек, а?! А ведь сработай мы на совесть, тебе бы, мож, опять внешняя разведка светила… а мне… домик… с виноградом в Севастополе. А теперь?! Хрен собачий. В Оймякон – гаишниками. И правильно! И того мало.

Лицо Клыкова, погруженного в мысли, выглядело совершенно мертвым. Потом его осенило:

– Погоди… ну понесла эта Лукерья отсебятину. А переводчик-то что?! Почему… не перевел как надо… первый раз замужем? Понабрали идиотов… Переводчик-то наш… куда смотрел, а?

В тишине было слышно только сиплое, тяжкое дыхание.

Тихий поднял от папки глаза.

– Переводчик рта раскрыть не успел, Николай Иванович. Это и есть самое настораживающее в данной ситуации. Девчонка говорила с шахиней сама. На *чистом* английском языке. Как говорят в Англии. Англичане. Я стоял рядом, товарищ полковник.

Тихий сделал паузу, чтобы Клыков проникся серьезностью факта.

– Наши люди так по-английски не говорят. Когда я в Лондоне…

– Ну да, тебя ж из Лондона турнули, – зло хохотнул Клыков и закашлялся, а Тихого заметно передернуло.

– Ну, ладно-ладно, – вытер губы платком Клыков, – не отвлекайся. Дело-то плохо… Ладно… Анатолий, надо думать, как из этого говна выбираться. Продолжай.

– А дальше выясняется, что Лукерья Речная в сентябре прошлого года совершила побег из дома и пропадала где-то целый год. Потом вернулась. Неизвестно откуда. Отец для оправдания в школе явно сочинил какую-то тетку в Волгограде. Никакой тетки в Волгограде не существует. Мы проверили адрес. Ложь.

– В розыск объявляли? Милиция что говорит?

– Розыск закончился ничем. Дело закрыли.

– Та-а-ак… Кто родители?

Тихий не стал даже заглядывать в папку. Она так и лежала на столе закрытая. Знал наизусть.

– Отец Николай Речной, тысяча девятьсот двадцать восьмого года рождения, слесарь авиационного завода, на хорошем счету, висел на Доске почета в прошлом году.

– Где проходил срочную? – почему-то спросил Клыков.

– В Белорусском округе, строительные войска. После этого работал на авиазаводе и никуда из города не выезжал. До получения квартиры жил в общежитии рабочей молодежи, где имел связь с комендантом Ковалевой, нашим давним информатором. Никакого интереса к политике никогда не проявлял.

– Работяга. Это труднее. А не врет стукачка?

– Ковалеву мне рекомендовали как информатора, доказавшего полную надежность.

– М-да.

– Интересы Речного: подледная рыбалка, работа на огородном участке, злоупотребление алкоголем, не выходящее за рамки, то есть без прогулов и вытрезвителя.

– Да, тут много не выжмешь. А мать?

– Татьяна Речная, тысяча девятьсот тридцать первого года рождения. В настоящее время недееспособна, после попытки самоубийства.

– Узнала про комендантшу? – скривив рот, пошутил Клыков.

Он явно стал дышать свободнее, ровнее. Сипы исчезли.

– Допрошена заведующая городской столовой номер восемь, где Речная работала поварихой. Работницей характеризуется хорошей, безотказной. Близких подруг не было, но нелюдимой ее не считали. Когда пропала дочь, Речная запила, работу бросила. Полгода находилась в психиатрической клинике на сто первом километре, попытка самоубийства. Потом, по словам завотделением, наступило улучшение, шла на выписку, но наглоталась таблеток три месяца назад. Лежала в коме. После этого не в себе. Персонал соответствующих больниц опрошен, все подтвердили. Проживают Речные по улице Красных Работниц.

– Знаю, это заводские дома. Родные есть? Проверил, что за фрукты?

– Никаких родственников вообще. Оба воспитывались в детском доме по улице Речной, тридцать. В нашем местном архиве сказали, это был спецприемник для детей… репрессированных.

– Для детей врагов народа, – отчеканил полковник. – Личные дела принес?

– Вот это и есть самое странное. Никаких личных дел, Николай Иванович, по тому спецприемнику в архиве нет.

– Да ты что?! Это ж по нашему ведомству. Должны обязательно быть в архиве.

– В архиве предположили, что в сорок втором, когда немцы под городом стояли, многие учреждения документы жгли без разбора. Скорее всего, так они и пропали. В общем, всякие данные о происхождении и родственниках Николая и Татьяны Речных полностью отсутствуют. Единственное, как можно что-то на них найти, это запросить центральный архив в Москве, но это очень долго, их же, наверное, десятки тысяч…

Полковник усмехнулся криво и многозначительно. Тихий только сейчас с удивлением заметил, что Клыков дышит нормально.

– Десятки? Бери больше…

– Вот именно. Тем более не зная точных фамилий… На это нужно время.

– Времени нет! – отрубил он. – Счет у нас с тобой на часы. Ч-черт, ты понял, что Речные – это по названию улицы? Тогда ведь как? Фамилии им, отчества меняли и метрики выдавали новые… Дети врагов за родителей не отвечали. Погоди, улица Речная. Да это же ЗеЗе… Зона затопления. Водохранилище, когда строили… электростанцию в пятьдесят шестом, весь район и затопили. Великое переселение… из зоны затопления, с правого берега на левый. Как эвакуация в войну: по мосту на машинах, с узлами, чемоданами… Мы тогда ходили смотреть, как весь этот поток хлынул, и речка Ворожка – переплюнуть речка – превратилась в море. Стихия. Меня ж сюда из Казахстана перевели как раз в пятьдеят третьем, когда мое хозяйство закрыли…

Тихий знал, что своим «хозяйством» полковник Клыков, состоявший в органах с 1933 года, называл лагерь, «площадью в полторы Англии», где начальствовал много лет и о чем любил вспоминать в компании верных сотрудников. Как начальника его любили. Скор на расправу, но отходчив, без подкожности.

– Ну ладно, время поджимает. Самое главное: девчонку допросил?

– Лукерья Речная допрошена во время обыска в квартире. Полная несознанка: ничего не знаю, английский по самоучителю выучила… Самоучитель мы, правда, в квартире нашли, но невозможно по самоучителю… такое произношение. Семья рабочая, даже книг в доме нет.

– А мать совсем плоха?

– Совсем. Допрос невозможен. То бьется в истерике, то не реагирует. Да и девчонка тоже не совсем в себе. Бормочет про какую-то колоду карт. Осторожно бы надо.

– Пусть наши врачи мать освидетельствуют. Может, горбатого лепит. Эх, при нормальных методах тут работы на полчаса допроса, а сейчас распускаем сопли, противно… А за девчонкой съезди. Здесь ведь и стены помогают, хе-хе…

– Николай Иванович, с девчонкой надо осторожно, – повторил Тихий. – Мне ведь тоже звонили. Из отдела Федора Павловича.

– Вот как! – Полковник посмотрел обеспокоенно и ревниво. – А что ж ты молчал? О чем говорили?

– Со мной говорили, я слушал. Предупредили, что есть осложняющее дипломатическое обстоятельство.

– Что?! Это что за «обстоятельство»?

– Шахиня Пехлеви пригласила девчонку в Тегеран. Официально. Документ пошел по дипломатическому каналу. О существовании Лукерьи, к сожалению, там известно. Это связывает нам руки. Привозить ее сюда не рекомендовано во избежание клеветнического визга всяких вражеских голосов, что в СССР якобы преследуют детей и так далее… За квартирой установлена суточная наружка, никуда не денутся. Муха не пролетит. Завтра, прямо с утра, продолжу допрос на месте.

– Руки, говоришь, связывает? Запомни, Тихий, если *они* свяжут *нам* руки, стране конец. Ну, черт с вами. С отцом что? Он-то у нас?

– У нас. Ожидает допроса.

Полковник широко улыбнулся, показав зубы курильщика. Брыли порозовели, и Клыков больше не выглядел покойником.

– Скажи ребятам, чтоб подготовили. Сам допрошу. Чистосердечное признание облегчает участь.

– Николай Иванович, учитывая состояние вашего здоровья…

– Заткнись! Видал я твою работу, молодо-зелено. Эх, что делать будете, когда мы, старики, страну на вас оставим? Все «психология» и чистоплюйство. Оперативный периметр, твою мать, обеспечить не умеют. Позорище.

Сказал уже без гнева, ворчливо и зачем-то щелкнул выключателем зеленой настольной лампы, звучным, как щелчок ружейного затвора. В свете лампы назойливый и тревожный стук часов из механизма, отсчитывающего минуты до взрыва, вдруг превратился в мерное сердцебиение притихшего здания.

– Москве доложим так: раскрыли банду антисоветчиков. Щупальца – за рубежом. Пока из управления пришлют своих архаровцев, мы уже провели работу, собрали улики, допросили, получили признания. Я на этом не то что собаку, целый питомник съел. Это всегда срабатывало. В одном ты дело говоришь: за английский девчонки надо уцепиться, хотя одно это зацепка слабая. Язык-то не запрещен, в каждой школе его учат. Может, она способная такая оказалась?

Господи, что он несет? Лицо Тихого при этом выражало почтительное внимание.

– Раз улик нет, значит, надо их найти, Анатолий! Пойти и найти. Ты меня понял?

Наконец-то старый кретин додумался до очевидного.

– За малолеткой и ее матерью – такую наружку, чтоб муха не пролетела! Чтоб день и ночь.

– Уже сделано, Николай Иванович.

– Эх, Анатолий, ну и задачка: убедить Москву, что алкашка-повариха и ворожский слесарюга – иностранные шпионы. Там ведь не идиоты сидят. Эх, если бы самиздатчики, безродные космополиты какие-нибудь откопались, связи с заграницей там – совсем другое дело, а тут сплошняком «то березка, то рябина», и поэтому только чистосердечное признание этого работяги может нам с тобой помочь. Понял?

Тихий понял. Понял, что дождался момента для главной улики.

– Николай Иванович, при обыске мы обнаружили нечто любопытное. Николай Речной прятал это под ванной. Говорит, что нашел в прошлом году на полу автобуса, когда ехал домой после ночной смены. Но врет плохо: дрожит, заикается.

Кожаная папка наконец открылась, и мягкое «щупальце» положило на стол перед полковником старую истертую фотографию с оторванным краем.

У Клыкова даже удлинилась его по-бульдожьи короткая шея. Уставился, не дотрагиваясь.

– Мать честная! – сказал наконец с радостным изумлением. – Что это за место?

– Кембридж, Великобритания, товарищ полковник, – громко раздалось в кабинете, торжественно, как смертельный диагноз.

– Вот это дело. Вот это дело, Анатолий!

Николай Иванович, наконец, взял фотографию в руки. Перевернул. На обороте – аккуратные иностранные строчки.

– Тридцать третий год. Это ж за год до убийства товарища Кирова. Я как раз в органы поступил. А ну, переведи.

Тихий, не глядя на фотографию, а пристально вперившись в Николая Ивановича перевел наизусть канцелярским голосом, словно зачитывал приговор в суде:

– Моя дорогая Ханна, мы две половины целого. В память о последнем выходном вместе в… «Old Blighty» это значит «добрая старая Англия». До встречи в нашей Promised Land… Это значит «земля обетованная». Люблю вас и буду очень ждать, мои дорогие девочки.

Река. Лодка. Полковнику из лодки улыбалась очень юная женщина с роскошной копной волос, завитых по тогдашней моде мелкой волной. Она сидела с маленьким ребенком на коленях, и ее лицо почему-то показалось Клыкову знакомым. Ребенок тоже улыбался в объектив, но трудно было сказать, мальчик это или девочка. За их спинами, на корме лодки, высился ладный парень с шестом в руках, в буржуйском белом с темной полоской свитере и светлых брюках. Парень держал шест как на той картинке «Святой Георгий убивает дракона», которая нравилась ему в детстве и висела над кроватью давно покойной бабки, богомолки. Парень улыбался напряженно. Поди, удерживать равновесие ему было трудновато. А над ними – мать честная! – мост со стрельчатыми окнами, что терем в сказке, и перекинут он между двумя дворцами, а построены те дворцы прямо в воде.

– Красиво загнивают. Кем-бридж, говоришь? А вот «земля обетованная»? Может, тут зацепка? Израи́ль? Эти же всегда, по всему свету… На всех инструментах играют, на всех языках говорят… Мать с девчонкой о фотографии знали?

– Я уже сказал, Николай Иванович, с матерью говорить бесполезно, а девчонка никогда фотографию не видела.

– Уверен?

Тихому вспомнилось неподдельно ошарашенное лицо девчонки и ее полные изумления глаза, когда ей показали фотографию. Что ее так ошарашило? Тут не простое удивление – нечто большее. Понимание мотивов людей Тихий считал своей самой сильной стороной в работе. Когда отца уводили, цеплялась. Он, конечно, говорил, что все они всегда говорят: «Ты не реви, Лушка, что ты как маленькая, это глупость какая-то. Все прояснится и отпустят. Ну, не реви, слышишь? Мать разволнуется. Лучше обед заводи. К обеду и вернусь. Ну все, отцепись, а то стыдно».

Дочку наверняка любит. Это хорошо, это увеличивает поле его уязвимости, оголяет болевые точки.

– А ты хитрый лисяра, Анатолий. Главное напоследок приберег. Дразнишь старика. Теперь чистосердечку от папаши этого – и полдела сделано. Ты вот что, Валентину сейчас же позвони, Химику, вызови срочно. Скажи, нужен его чаек-болтунчик.

Окончательно оживший Николай Иванович поднял голову, потянул носом воздух и вдруг тихонько засмеялся неожиданно молодым смехом:

– Нет, погоди, я Валентину сам позвоню. Предупрежу, чтобы с дозировкой поосторожнее… Не как в прошлый раз. От «овощей» мало толку, а у нас этот задержанный – единственная зацепка, потому на вес золота.

Николай Иванович медленно поднялся, осторожно ступая, словно не доверяя полу, подошел к темному окну, под которым лежал вверенный ему город в редких дрожащих огнях. Тихий, овчарки и бронзовый Феликс следили за ним.

– Ноябрь, а снега все нет. В прошлом году уж давно снег лежал. Знаешь, мы как в Казахстане говорили? Снег – лучший друг чекиста. Ну все, свободен. Скажи Ганину, пусть ко мне поднимется. Поговорю с Москвой, домой съезжу переодеться и – к ребятам, вниз, за работу. Скажи, чтоб готовили пациента к допросу.

– Николай Иванович, а в московский архив я все-таки запрос направил. Да, там, конечно, непочатый край, но если надо, сам поеду…

– Куда это ты поедешь? Охренел? Ты мне здесь нужен!

Тут же обоих заставил вздрогнуть и оглушил требовательным звоном аппарат прямой связи с Москвой.

Глава 2
Важная встреча в библиотеке

(Август 1971-го, за год до инцидента)

Был конец последней смены в лагере «Юный авиастроитель», где Лушка проводила по три смены каждое лето. Остальных уже разобрали родители, и оставались только те, кто ждал заводского автобуса. В их отряде такой оказалась она одна. Ей нравилось это пограничное состояние, когда все старые правила жизни уже отменены, а новые еще не вступили в силу. Ей нравились безнадзорность, свобода и щемящая меланхолия последних августовских дней, когда утренних линеек больше не проводилось. Заправку постелей не проверяли. Можно было отсыпаться, безнадзорно бродить по территории или сидеть под деревом и рисовать, рисовать, рисовать – карандашей и бумаги после смены оставалось навалом. И никому не было дела, какой рукой ты рисуешь, хоть ногой.

Вожатые – студенты пединститута – часто теперь собирались по своим маленьким комнаткам отрядных домиков и «пили чай»: из большого алюминиевого чайника текла в чашки холодная белая жидкость, которая кого-кого, а Лушу, с ее-то опытом, обмануть не могла.

– Что тебе, Речная? Иди порисуй или вон в библиотеку сходи, пока открыта.

И захлопывали перед ее носом чуть приоткрытую дверь.

Она и шла в библиотеку.

Там и вспыхнула ее неожиданная дружба с Ларисой Семеновной, имевшая такое странное продолжение.

Лариса Семеновна, библиотекарь пединститута, пятидесятилетняя женщина с очень красивыми, тонкими пальцами, когда-то гордилась сходством с помпейской фреской: поэтесса, в раздумье кусающая стило, – тип красоты, оказавшийся совершенно невостребованным в Вороже, поэтому счастье не сложилось.

У Ларисы Семеновны когда-то были старенькая мама с трясущейся камеей у горла, книжный шкаф, кошка и абажур с редеющей бахромой, а теперь остались только книжный шкаф, нервная кошка и абажур. Мама, казавшаяся бессмертной, этой весной навсегда уснула в своем кресле с лупой и томиком Пушкина, подкрепившись перед дальней дорогой в Великое Неизвестное любимыми пирожками с капустой, которые Ларисе Семеновне особенно удавались.

Впервые в жизни оставшись одна, Лариса Семеновна, наконец придумав, куда себя деть, бежала оглушительно пустой квартиры с высоким потолком и городского лета с его грязными заносами удушливого тополиного пуха. Оставив кошку Мусю хорошей соседке по коммуналке Кире, буфетчице привокзального ресторана, она на весь отпуск устроилась библиотекарем в пионерский лагерь «Юный авиастроитель», среди сосен, где чистый воздух.

Во время смены у Луши никогда не было времени на чтение, и даже в библиотеку, синий деревянный домик в дальнем углу лагеря, позади столовой, она ни разу не зашла.

Лагерный день был заполнен мероприятиями от подъема до отбоя. То подготовка к конкурсу хорового пения, то военная игра «Зарница», когда они на носилках «спасали» из очага «атомного взрыва» хохочущих «пораженных», то смотр строя и песни, на котором они каждый день маршировали по лагерному плацу с речевками. Луша за все годы столько этих речевок заучила: тысячу, наверное!

Это кто шагает в ряд?
Пионерский наш отряд.
Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,
А только вперед,

И только всем вместе!

Мы любим нашу Родину,
Да здравствует прогресс
И славная политика ЦК КПСС!
Раз-два, за-апевай!

Только тем, кто сердцем молод,
Мы вручаем серп и молот.
Раз, два – Ленин с нами!
Три, четыре – Ленин жив!
Выше ленинское знамя,
Смена верных ленинцы́в.

Ей нравилось, когда все что есть мочи орали «ленинцы́в». И шишки с ритмичным стуком падали на плац, а коварные подземные удавы корней вздыбливали размягченный от солнца асфальт.

Другие вечерами ревели, оказавшись в лагере, и хотели домой, но Лушка этого не понимала. В лагере можно было отдохнуть от чертовой школы, от беспокойства за мамку. Она давно заметила: летом с мамкой *это* никогда не случалось, только зимой, или осенью, когда выпадал снег, или весной, пока он еще не стаял. А летом – никогда.

– Здравствуйте, можно, я тут посижу? – спросила девочка, войдя в библиотеку.

– Можно, сиди, – ответила Лариса пришелице, отпивая остуженный мятный чай. Она берегла зубную эмаль и никогда не пила чай горячим. Ларисе Семеновне сразу понравилась эта веснушчатая девочка с давно немытыми рыжими волосами (и оттого оттенка темной меди), которая села за столик с журналами под окном, посмотрев на нее взрослым взглядом, и стала рыться в холщовом рюкзачке на пуговице.

Хорошая девочка, хотя и заброшенная, как кошка Муся, которую Лариса Семеновна пугливой и тощей подобрала в подъезде. Интересно, сколько этой рыженькой лет, десять, одиннадцать? Лариса Семеновна подумала, что если бы не аборт тогда, после отпуска в Ессентуках, одиннадцать лет назад…

– Ну что, домой завтра? Соскучилась, наверное, по дому?

Девочка подняла на Ларису удивленные глаза и ничего не ответила.

– Как тебя зовут?

– Луша.

Неожиданно. Полное имя получается Лукерья? Так старомодно сейчас детей не называют. Но вслух Лариса соврала:

– Милое имя.

Луша имя свое терпеть не могла. Лушка-лягушка, Луша-лужа. И угораздило ее так назвать! А все отец. Луша мечтала: когда вырастет, уедет в такой город, где ее никто не будет знать, и скажет, что ее зовут Лариса – хорошее, лисье, рыжее имя.

– А вас как зовут?

– Лариса. Семеновна.

– Повезло.

Это библиотекарю понравилось, и она решила разбавить монотонность дня.

– Давай чай пить, Луша! Я как раз чайник вскипятила. Ты любишь мятный чай?

– Не знаю, не пробовала никогда.

И они там же, на столе под окном, перенеся на стойку журналы (под ними оказалось выцарапано короткое, неприличное слово, которое Луша быстро закрыла своей эмалированной кружкой), стали пить мятно пахнущий отвар. Лариса Семеновна одобрительно заметила Лушкин маневр с кружкой и принесла из-за стойки на стол еще и пачку печений «Юбилейное».

– Ну как, вкусно?

Луше отвар не понравился, но понравилась Лариса Семеновна, поэтому она кивнула.

– Ты любишь читать?

– Не очень.

– Почему же? – воскликнула Лариса Семеновна.

Лушка задумалась. Литературу она считала неплохим уроком в расписании: ей всегда удавалось садиться в дальнем углу класса, где можно было рисовать без особых помех.

– Мне некогда.

– Вот как! Чем же ты так занята?

– Я рисую.

– Одно другому не помеха. Просто ты еще не встретила свою книгу.

– Что значит «мою»?

– Ну, такую…Такую, которую не забудешь, которая станет помогать.

– В чем?

– Во всем. А хочешь, я угадаю, какая книга – *твоя*?

Лушка пожала плечами.

– Ну, хорошо.

– Только все должно быть честно. Идет?

– Идет.

Лариса Семеновна загадочно улыбнулась, встала из-за стола и пошла к полкам. Лушка отвернулась и стала смотреть в окно на опустевший лагерь. Она подумала, что зимой сюда, наверное, приходят звери и укрываются на верандах деревянных корпусов. Картина в голове ожила, и ей ужасно захотелось это нарисовать.

Но Лариса Семеновна уже шла от полок с какой-то книгой.

– Условие такое. Ты прочитаешь прямо сейчас первые пять страниц, я тебе мешать не буду, и скажешь, угадала я или нет. Только честно.

– Хорошо.

Лушка взяла в руки книгу. Лиса, утка, снег. Фамилия смешная: Мамин-Сибиряк. В школе бы его задразнили. Название «Серая шейка». Вздохнула.

– А хотите, я вас сначала нарисую?

И, не дожидаясь ответа, достала из рюкзака на пуговице блокнотик и карандаш.

– Ну хорошо, нарисуй. С книжкой успеется. Так ты хочешь стать художником?

Луша не ответила и начала ловко рисовать, бросая быстрые взгляды на Ларису Семеновну, которая непонятно почему оробела и оттого немного дурачилась, торжественно и театрально гримасничая, на что Луша не обращала внимания и даже ни разу не улыбнулась.

– Ты левша? – вдруг спросила Лариса Семеновна тихо и сочувственно.

Луша смутилась и так повернула левую руку, чтобы Лариса Семеновна не увидела шрама.

– Иногда. Но в школе нет. А пишу я уже правой – переучилась, и хорошо пишу, – сказала поспешно и с гордостью.

– И как же тебе удалось переучиться?

И так, пока рисовала, Луша, сама не заметив, рассказала Ларисе Семеновне как ее переучивали из левшей…

До самого первого класса родители не замечали, что Лушка – левша. Да и как тут заметишь? Мать с отцом всю неделю на работе, а она в деткомбинате на пятидневке, дома только на выходных, а на субботу и воскресенье у матери то стирки накопилось, то на рынок поехала,

то в очередях, а у отца то сверхурочные, то «рыбалка с мужиками». А ела Лушка почему-то правой, как все.

Воспитательница на пятидневке Алл Георгиевна (самая лучшая!) никогда ее за леворукость не ругала, и поэтому Лушка понятия не имела, что она дефективная, а узнала это только от Клары Петровны, когда пошла в первый класс. Там все и обнаружилось в первый же день: правой получалось ужас что, а левой – как у всех.

В школе больше всего тосковала Лушка по Алл Георгиевне. Молодая, веселая, только что из института, большая выдумщица, она рассказывала интересные истории. Особенно хороши была истории про доктора Гулливера, который попал в страну к маленьким человечкам, а еще про Робинзона, который сбежал из дома на корабле и оказался на совершенно пустом острове, без людей, как пионерский лагерь после третьей смены. Вот все это Лушка и рисовала, мечтая когда-нибудь тоже уплыть далеко-далеко. Алл Георгиевна Лушкины рисунки любила и прикнопливала их на стенку, чтобы все видели.

– И ты не побоялась бы жить на необитаемом острове одна? – вдруг спросила Лариса Семеновна.

– А что там страшного? – ответила Лушка, не поднимая головы. – Я в «Клубе кинопутешественников» такие острова видела. Море, песочек, пальмы с ананасами, бананы, и никто не мешает. И никакой школы. Главное, чтобы была пресная вода. Нет, необитаемый остров Лушку бы совершенно не испугал.

Так вот, когда обнаружился Лушкин дефект, мамку вызвали в школу. И они стояли вместе посередине кабинета директора, как на картине «Допрос коммунистов», что и сейчас висит в актовом зале. Стоя с опущенной головой, Лушка старалась не наступить на солнечного зайчика на паркете, и ей казалось, что были они там втроем: она, мамка и солнечный зайчик. Мамка страшно волновалась и все поправляла и поправляла свои немытые волосы, засовывая их под прозрачный платок. Поднимая руку, она невольно показывала пятно на локте «хорошего» платья, которое к тому же, оказывается, слегка разошлось в подмышке по шву, но мамка этого не видела, а Лушка и учителя видели. Солнечный зайчик вскоре предательски исчез.

За столом восседала директрисса, Нина Константиновна, строгая, сухая женщина, из-за увечья прозванная Костяная Нога. Одна нога у нее была короче другой, как все говорили, из-за «полимилита», поэтому она носила огромный, коричневый ортопедический ботинок. Завуч, усатый Павел Кузьмич Громов, преподаватель гражданской обороны и НВП (по кличке Калаш), в защитной гимнастерке и брюках хаки, облокотился на подоконник и время от времени зорко поглядывал вниз, на школьный двор. Справа от стола Нины Константиновны сидела, сложив руки на груди, Клара Петровна.

– Товарищ родительница, а ведь ситуация серьезная. У нас однажды из-за левши ЧП произошло, – сказала она, как рентгеновским лучом пронзая насквозь Татьяну, словно виновата в том ЧП была она. – Причем случилось это на мероприятии в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина, в присутствии комиссии облоно, понимаете?! – Клара Петровна трагически понизила голос, словно объявляла о начале войны. – В присутствии комиссии Селиванов из пятого «б» со сцены отдал пионерский салют… левой рукой. Весь строй салютует правой, а он, всем наперекор, упорно – левой, левой и левой! Ломает весь строй, все единство! А в зале – завоблоно… Противопоставление себя коллективу. Чей педагогический просчет? Наш. Представляете?

Повисла тяжелая пауза: воспоминание об этом было мучительным для педсостава.

– Да, Клара Петровна, и ведь сколько мы репетировали, вспомните, сколько ему говорили! – подхватила Нина Константиновна. – Комиссия внесла это в отчет, и мне пришлось краснеть на заседании. А это честь школы. Так и стоит перед глазами: Селиванов со своей левой рукой. И на сигналы не реагирует.

– Нам такие *инциденты* не нужны. Мы коллективистов воспитываем, – подытожила Клара Петровна.

Голос Нины Константиновны звучал проникновенно и скорбно:

– Меры, товарищ родительница, надо принимать уже сейчас. Вам любой врач скажет, у левшей полушария мозга развиваются иначе. Вы же не хотите, чтобы ваша дочь стала совсем дефективной?

Татьяна похолодела.

– Девчонкам-то еще ничего, а вот для армии левша – беда, – хрипло изрек от окна Павел Кузьмич, за спиной и над головой которого плыли облака, похожие на паруса Гулливерова корабля.

Все посмотрели на него с немым вопросом.

– Затвор-то в автомате где? – пояснил он, демонстрируя обеими руками воображаемый автомат. – Справа. А если призывник левша, гильзы куда при стрельбе летят? В лицо бойцу, вот куда. К строевой негоден. Кому он такой нужен?

Лушке тогда стало страшно. Вдруг война, и придется идти в партизаны, как Зоя Космодемьянская, а бесполезная дефективная Лушка даже стрелять не сможет! В классе висела картина: девушка с автоматом зимой скрывается от гитлеровцев за избами. Лушка заплакала. У матери голос дрожал, она заикалась.

– Она переучится, товарищи учителя… Клар Петровна. Обязательно переучится. И отец возьмется, и я… Умрем, а переучим. Слышь, Луш?

Клара Петровна смотрела одновременно брезгливо и печально.

– Что скажешь, Речная?

– Пере…учусь, я переучусь! – всхлипывая всем своим тощеньким форменным платьем и борясь с предательски вытекающей соплей, заверила Лушка.

– Бедная ты моя, – сказала мать и, когда они были за воротами школы и видеть их из окон уже не могли, быстро наклонившись, поцеловала Лушку в голову, чего почти никогда не делала.

А дома, на кухне, стала учить дочь самому главному: чистить картошку правой рукой. Уже десятая, наверное, идеально голенькая картошка – как же молниеносно чистила их мамка! – бултыхалась в кастрюлю с холодной водой, а Лушка все мучилась с одной.

– Ты не спеши, мышонок. Медленнее, вот так, видишь? Смотри, не порежься.

Наконец, Лушка не вынесла своей неумелости, слезы застлали ей глаза, нож сорвался, и она все-таки порезала руку ножом с налипшим на него черноземом. Мать испугалась, вскрикнула, замельтешила. Ее вдруг ни с того ни с сего охватила паника, что Лушка может от этого умереть. Как будто в Советском Союзе дети когда-нибудь умирают! Потом они ехали на трамвае в поликлинику, делать прививку от столбняка, и в кабинете, пахнущем лекарствами, Лушку кололи здоровенной иглой, насаженной на тяжелый стеклянный шприц, очень больно.

После прививки Лушка всю ночь не спала и думала о Зое Космодемьянской, которая никогда не приняла бы ее в партизанский отряд. Она ведь не только из автомата не сможет, картошку-то чистить и то по-человечески не сумеет, а две эти вещи – самое главное в партизанском отряде.

Лушка люто возненавидела свою левую руку. И когда мать ушла на работу, включила газ и сунула негодяйку в огонь. Правда, сразу отдернула, но волдырь посреди ладони получился огромный, как будто она несла воздушный шар.

С перевязанной рукой дело пошло гораздо лучше и быстрее: писать правой Лушка научилась, да и все остальное худо-бедно, а вот с рисованием – никак.

… – А что на это все отец сказал? – Лариса Семеновна уже не отрывала глаз от шрама на Лушкиной руке.

Отец тогда помрачнел, узнав от матери про педсовет и про то, что дочка его уродилась левшой, но принимать участие в переучивании отказался, а заявил, усаживаясь на кухне и разворачивая газету «Труд»:

– Вот сама и переучивай. Был бы сын, я б занялся, а дочка – это, Танюха, твоя делянка.

– Как же ты, Луша?.. Тебе же больно было! – У Ларисы Семеновны лицо скривилось от мысли о Лушкиной боли.

– А Зое Космодемьянской разве было не больно? – ответила Лушка, продолжая рисовать.

Наконец рисунок был окончен.

– Вот.

На пустой дороге среди поля с единственным деревом и единственной птицей в небе стояла Лариса Семеновна, у ее ног сидела похожая на нее полосатая кошка. Они смотрели в одном направлении, и обе чего-то ждали.

– Кто тебя учил так рисовать?

– Никто.

– Откуда ты узнала, что у меня есть кошка? – Голос у Ларисы Семеновны погрустнел.

– Мне показалось.

– Хорошо, а теперь книжка. Помнишь уговор? Читаешь про себя первую главу и говоришь, угадала я или нет. – Лариса Семеновна поднялась и опять ушла к полкам.

Луша открыла книжку «Серая шейка» и подумала, что вот, может быть, и не стоило эту Ларису Семеновну рисовать – она почему-то расстроилась. Но Луша этого не хотела. Начиная рисунок, она вообще никогда не знала, что у нее получится.

Тогда она решила сказать Ларисе Семеновне, что ее книга понравилась, даже если она окажется полной ерундой для малышей.

– Нет, погоди, Луша, я ошиблась, – вдруг воскликнула Лариса Семеновна из-за полок. – Это не та книга. Попробуй лучше вот эту.

И положила перед ней другую.

Луша взяла в руки другую книгу. Синяя. Тусклый ключ на синем фоне. И больше ничего на обложке.

Не тонкая и не толстая.

– Эта книга про сейчас или про давно?

– Это про всегда. – Лариса Семеновна вдруг подумала, что ведь дала самый правильный ответ.

Луша открыла книгу…

Остановись. *Не маши, бабочка хаоса, крыльями, ведь все же связано по упрямому закону взаимосвязей, вот и погибнет на другом конце планеты какой-нибудь остров. Или здесь, в советской стране, провалится в кроличью нору и пропадет Луша Речная, и все вокруг.*

– Первая глава. Уговор помнишь?

– Помню.

Лариса Семеновна, время от времени поглядывая то на читающую Лушу, то в окно, где виднелась усыпанная шишками песчаная тропинка между оранжевыми сосновыми стволами, включила маленький кипятильник в эмалированном ковшике и открыла «Мадам Бовари».

А для Луши уже после второй страницы все исчезло: и библиотека, и лагерь, и даже город. Была только река, только лодка, жаркий полдень в неведомой стране, желтые кувшинки

на темной воде и картинка: замок, растущий прямо из реки. А потом – роковое, замедленное падение в кроличью нору. От ужаса и предвкушения неведомого у Луши перехватило дыхание.

– …Ну все, Луша, пора мне закрываться. Вижу, что с книжкой угадала.

– Лариса Семеновна, пожалуйста, можно мне с собой взять в палату? Я не потеряю, я… я обязательно верну утром, автобус только в одиннадцать, – взмолилась Лушка.

– Угадала, угадала! – счастливо засмеялась Лариса Семеновна. – А знаешь что, Луша… А бери-ка книгу себе. Насовсем. Она и так старая, я за нее внесу. Считай, это мой подарок.

У Лушки защипало в глазах, и она, подскочив, вдруг порывисто и крепко обняла Ларису Семеновну так, что Лушкину благодарность ощутил весь мягкий ее живот.

– Ну что ты, что ты, Луша!

И уже защипало у обеих в глазах, потому что Ларису Семеновну никогда еще ни один ребенок не обнимал.

– Погоди. И вот еще что…

Лариса Семеновна оторвала край газеты, очень быстро что-то написала карандашом и протянула Лушке:

– Мой номер телефона. Обязательно в городе позвони. Позвонишь? Я пирожков напеку. С капустой.

– Я позвоню, Лариса Семеновна!

Лушка прижимала к себе книгу, переполненная счастьем.

Утром, в одиннадцать, придет автобус, и Луша из лагеря уедет, а Лариса Семеновна с небольшим чемоданчиком пойдет желтой песчаной тропинкой меж оранжевых сосен на станцию Сосновка, откуда тянулись в город зеленые огурцы электричек.

А вот бумажку с телефоном Ларисы Семеновны где-то на пути из лагеря домой (может, в автобусе, а может, и на улице) Лушка выронит и безвозвратно потеряет.

Глава 3
Светящееся море

Когда Лушка выросла и пошла в школу, ей был выдан ключ от квартиры на шнурке с наказом не потерять, и она никогда его, кстати, не теряла. У родителей была своя жизнь, у нее своя, хотя спала она теперь дома каждый день, а не только по выходным, как на пятидневке, когда была маленькая.

Она рано научилась разогревать на плите жилистые, натруженные котлеты, которые мать почти каждый день приносила из своей столовки авиазавода, где чистила тонны корнеплодов. На авиазаводе вкалывал и отец. Он никогда не говорил «работать», только «вкалывать».

Жили хорошо. Двухкомнатная квартира от завода – неслыханная удача, холодильник «Орск», телевизор с линзой, уборная с ванной, хотя все давно требовало ремонта, а отбитая эмаль у слива точно повторяла очертания Южной Америки. Даже «дача» у них была: огород и сарай за городом, куда они ездили с лопатами в переполненных, вихлявых автобусах.

Лушка любила, когда мамку *это* отпускало, и она опять становилась нормальной, любила, когда отец, заговорщически подмигнув Лушке, спрашивал мамку, придя с работы:

– Ну что, Танюха, несунья моя, каких харчей сегодня у государства спиздила?

И пытался обнять за толстую спину.

А мать делала страшные глаза и стегала его вафельным полотенцем:

– Тише, дурак.

И они смеялись.

Спали родители в «большой комнате», на диване-кровати, который давно сломался и, став просто кроватью, стоял раззявленный под синеватым покрывалом, которое красиво называлось «жаккардовым».

В выходной или на праздники родителей звали соседей, дядь Леху с тетей Ритой, или приходили какие-то папкины приятели с завода, и все они громко квасили на крошечной кухне, но Луше это совершенно не мешало. Она любила, когда ее оставляли в покое, да и свое леворукое художество она прятала: когда кто-то входил, научилась молниеносно перекидывать карандаш в правую руку и притворяться, что нормальная.

У нее была своя комната, длинная и узкая, как отцепленный вагон, с белой железной кроватью, шкафом и настоящей партой, которую откуда-то притащил отец. Парту покрасили, но на крышке все равно было видно глубоко вырезанное имя «Федоръ». Гости, конечно, шумели, но это не будило ее. «Лушка молодец, спит как пожарник», – хвалила ее мать.

И Лушке было приятно. Хвалили ее редко.

А один раз они даже поехали на море. Город назывался Керчь и остался в памяти горько-соленым, огромным и пугающим морем, песком на зубах, запахом вареной кукурузы и спортшколой с кроватями, которая называлась «обсерватор». Поезд был шумным, переполненным, его качало, как, наверное, качает корабли, и Лушка спала на самом верху, на багажной полке, как книжка. Ей там нравилось, и она придумывала, о чем бы была книжка, если бы она ею стала. Сверху она видела всех, а ее на полке, которая кисло пахла чужими чемоданами и горячей пылью, никто не видел.

Вагон назывался красиво – «плацкартный». Люди шумно разговаривали, смеялись, пили водку и пели, а поезд упрямо выстукивал «скоро-скоро-скоро́», «скоро-скоро-скоро́». Утром, чуть свет, мамка разбудила Лушку, пощекотав ей пятку:

– Лушка, заяц, вставай скорей! Море! – И они рванулись к окнам с той стороны, где показалась бесконечная синь.

И весь вагонный люд, большей частью люди степные, лесные, равнинные, проснулись, засмеялись, зашумели и, несмотря на рань, вытягивали шеи к окнам, за которыми появилось море, неподвижное от своей огромности. Никакие картинки не могли бы это передать. Все мелкое: дома, полустанки, деревья – неслось и проносилось, а море оставалось неподвижным.

Потом весь их плацкартный вагон ел холодные крутые яйца с солью и хлебом, и в вагоне стало пахнуть совсем неприятно. Пассажиры пили темный чай с кусочками сахара. Они красиво таяли в стаканах, засунутых в дребезжащие железные подстаканники, и незнакомые люди разговаривали, словно всегда друг друга знали. Все стали вдруг какими-то счастливыми, как перед Новым годом, и угощали друг друга салом, вареньем, холодной курицей. Лушка подумала, все это потому, что они увидели море. И с того момента уже не могла дождаться, чтобы войти в него самой – недалеко, по щиколотку, а то страшно.

В Керчи они поселились в замечательном абрикосовом саду, в деревянном сарае с окном. В сарае стояли раскладушки и грубо сколоченный стол, а вместо пола была утоптанная земля, покрытая полосатыми половиками. И был садовый кран с мягкой, вкусной водой, под которым они умывались абрикосовыми утрами, звенящими от птиц. Папка говорил, что им очень повезло найти такое жилье, так как ехали они дикарями. И она смеялась, и представляла папку с перьями на голове.

Абрикосы были маленькими, но очень сладкими, прятались в зелени и назывались «жердели». Квартирная хозяйка, баб Оля, разрешала Лушке срывать жердели прямо с ветки. Ничего вкуснее Лушка никогда не ела. Целыми днями баб Оля варила из них варенье тут же в саду, поставив латунный таз с ручкой на железную печку, которую топила сухими абрикосовыми ветками. И давала Лушке пенки, вкусные. А потом продавала варенье на рынке.

Баб Оля жила в своем одноэтажном доме с желтыми резными наличниками и желтолицым сыном-инвалидом Петенькой, очень большим и страшным. Он сидел у окна в своей каталке с велосипедными колесами и иногда нечеловечески ревел и порывался встать, но не мог, как будто его держал кто-то неимоверно сильный и невидимый. Лушка его тайком нарисовала, но на рисунке Петенька получился совсем не страшным, а грустным и квадратным, как Брежнев из программы «Время».

С утра и на целый день они уходили на большой песчаный пляж, где папка все-таки научил ее плавать. И мамка тогда *этим* болела редко, да еще, как оказалось, умела плавать и заплывала дальше папки, не боясь никаких медуз.

Все было здорово ровно до того вечера, когда у набережной в темноте начало светиться море. Фос-фо-рес-цировать. Это Лушу здорово напугало, и у нее появилось предчувствие, что что-то нехорошее случится, но об этом никому не сказала. Она уже знала: когда все так сказочно хорошо, потом обязательно бывает плохо. А через день или два выяснилось, что в городе холера. Их заперли на две недели в «обсерватор»: в спортивной школе поставили сотни раскладушек прямо в зале, по верху стены протянули колючую проволоку и никуда никого не выпускали. Родители сказали: «Так надо», и она успокоилась. Было жарко, ночью люди громко храпели в огромной «спальне» с белым полом, расчерченным спортивными кругами и полосками. И вся еда, которую им давали, была белой: манная каша, рисовая каша, молочный суп, кефир. Только это она и запомнила – белизну. А потом их выпустили. У них холеры не оказалось, а в городе она продолжалась, о чем перешептывались взрослые. Об этом почему-то нельзя было говорить громко.

Потом они ехали обратно в Ворож на деревянных полках в вагоне, где тюфяков им не дали. И полку ей пришлось делить «валетом» с мамкой, потому что поезд был переполнен. Тогда отец надул ее резиновый круг с осьминожками и положил ей под голову, мамка обернула круг своей блузкой, и Лушке опять стало хорошо, потому что блузка пахла солнцем и мамкой. А папка и вовсе остался без полки, и всю ночь курил, смеялся и пил вино с проводником, толстым краснолицым грузином в его «купе» около постоянно запертого туалета. А на станциях

через открытые окна тянулись черные от загара руки с желтыми кукурузой и дынями, и весь вагон пах дынями и кукурузой. И все стало опять разноцветным, что Лушке ужасно нравилось, но одно не давало покоя: ночное свечение и память о том страхе, который продолжал заползать в сны. Когда все в вагоне уснули, она осторожненько, чтобы не разбудить мамку, подтянула к себе рюкзачок с карандашом и блокнотом, которые всегда носила с собой, села поближе к тусклой лампочке и это светящееся море нарисовала. И поняла: если нарисовать страшное, оно становится нестрашным. И спала хорошо, без снов.

Глава 4
Травля

О неизбежности школы Лушка вспоминала каждый август с великой тоской. Еще в детском саду она уяснила: чтобы тебя оставили в покое, надо быть невидимой в своей полной похожести на остальных. Как незаточенные простые карандаши в коробке.

Однако все изменилось в тот день, когда давно, еще в третьем классе, она описалась на уроке математики.

Математичка была вредной и не отпустила ее в туалет. И Лушка сидела, терпела-терпела изо всех сил, пока вдруг не чихнула. И почувствовала, что по ногам потекло горячее, а под партой образовалась лужица…

И началось. Лушка словно пересекла какой-то рубеж, за которым в школе она перестала быть незаметной и как все. Ее можно было теперь гнать от своих парт, кричать ей на улицах: «Лушка-зассанка», «Ссаная Крольчатина».

Крольчатина – это из-за того, что у нее передние зубы выросли неправильно: здоровенные, как у кролика, а между ними зазор. Мало того что рыжая, еще и щербатая. В общем, не только зассанка, но и та еще красавица.

Особенно усердствовал Сурок, Сашка Сурков, здоровенный белобрысый второгодник, с поросячьими глазками без ресниц. Он так и норовил задрать ей при всех в коридоре форменное платье: «А ну, покажи ссаные трусы, алкашкина дочка!» А когда метал спрессованными, тяжелыми, как камни снежками (пальтишко у Лушки было жиденькое), то все метил по начавшей болеть и набухать груди. Он плевал из-за спины на ее рисунки и тетради густой коричневой слюной курильщика и однажды вылил ей на голову полпузырька красных учительских чернил. Лушка выглядела как окровавленная, даже класс оторопел, а Сурок хохотал и упивался эффектом. Хорошо, что родители работали сверхурочно, и она успела до их прихода отмыться в ванне, из которой выбросила грязное белье. К счастью, к родителям зашел тогда сосед из второго подъезда, дядь Миша, и они сели на кухне «квасить».

Мать, как всегда, лишь крикнула из кухни:

– Луш, поела? Уроки сделала?

И она тоже, как всегда, из своей комнаты: поела, делаю. Пароль – ответ.

Лушка все думала, когда же это случилось и почему весь класс вдруг решил, что с ней позволено все, что над ней можно издеваться. Даже Светка Анохина из третьего подъезда, хотя они сидели за одной партой с первого класса, сторонилась ее, как прокаженной, и это было особенно больно. Отнестись к ней по-человечески означало поставить себя с ней вровень, тоже подставить себя под удар Сурка и его компании. Поэтому все трусливо Лушку избегали.

О помощи она все же попросила. Тут как раз и у матери началось *это*. Луше стало совсем невмоготу. Классная Лидь Васильна учительницей литературы была хорошей, стихи читала так, что все замирали. Несмотря на это, кличка у нее была малоприличная – Куриная Жопа – за форму лиловых от помады губ.

Классная сказала Луше, сделав задушевное лицо, как у певицы Валентины Толкуновой: «Ребята чувствуют твой индивидуализм, Луша. Поэтому и нет у тебя друзей в классе. Коллектив редко ошибается, поверь мне».

Прознав об этом разговоре, коллектив затолкал Лушку в пустой класс после уроков. Сурок привлек еще каких-то своих приятелей из параллельного и, став в круг у доски, они стали толкать ее от одного к другому. Не били. Просто толкали. Сначала несильно, потом сильнее. Она выставила вперед руки, защищалась, потом упала. Поднялась. Каждый раз, когда она поднималась, толкать начинали сильнее, уже остервенело. Растрепанные волосы лезли в глаза, платье задралось, она больно ушибла коленки, но старалась не плакать и все равно под-

няться. Это было ее ошибкой. Лушка поднималась, а им было важно, чтобы она перестала подниматься, целью было видеть ее распростертой на полу. Поэтому толкали опять и опять, она чувствовала на спине, на руках, плечах, на шее маленькие, злые руки коллектива. Светка, впрочем, толкала ее несильно и прятала взгляд. Наконец, Лушка сдалась и все-таки заревела, сжавшись на полу, закрыв руками голову – уродливая, растрепанная, с ненавистью от бессилия. Попробуйте в таком положении не зареветь. Сурок стал мяукать, передразнивать ее плач, и, если бы не громогласные уборщицы с лязгающими ведрами в коридоре, неизвестно, как долго бы все это продолжалось.

Дома она, конечно, ни о чем не рассказала. Тем более что внутри росло чувство какой-то своей вины. Светку же вот, например, не травят, и Катьку из седьмого подъезда не травят. Да никого из девчонок! Значит, есть что-то такое в ней самой, Лушке. Может, и права Лидия Васильевна, может, она сама во всем виновата…

А этот учебный год, несмотря на августовскую радость обретения Алисы, начался для Луши совсем плохо. Сурок играл на площадке в футбол ее новым портфелем и сломал замок, потом высыпал из него в грязь все ее рисунки: и Алису в лодке на реке, и зубастого Чеширского Кота, и Безумного Шляпника.

Сурок не учел одного: Луша теперь была не одна. У нее теперь была Алиса. Книгу, неожиданно подаренную ей судьбой, она даже специально не заучивала, так получилось.

А потом Лушка открыла в себе удивительное свойство: в самые трудные жизненные минуты она становилась Алисой и на все смотрела со стороны и немного сверху.

«Сурок – это просто тот младенец, которого избила Герцогиня. Вот оттого он и превратился сначала в поросенка, а потом и в такую свинью».

Луша засмеялась, вспомнив уродливую Герцогиню. «Лупите своего сынка за то, что он чихает». Чувство, что во всем этом ее вина, заменилось ненавистью к обидчикам. Сурку труднее стало доводить ее до слез. К тому же один раз он сам пришел в школу с лиловым жгутом через лоб и глаз, и выяснилось, что отец сечет его смертным боем своим солдатским ремнем с латунной пряжкой.

…А потом, однажды, собирая свои испачканные рисунки с асфальта школьного двора, Луша спокойно посмотрела на Сурка снизу вверх и вдруг сказала: «Твой отец тебя когда-нибудь убьет».

И вдруг поняла, что попала в самую мягкую сердцевину его страха: выражение сурковских глазок стало испуганным. Впрочем, он быстро пришел в себя и начал пинать ее портфель с еще большим остервенением.

Луша ошибалась. Сурка убьют только в армии, перед самой демобилизацией.

Глава 5
«Это». Мамин непонятный страх

Лушке иногда казалось, что в мамке жили два разных человека. Один человек – нормальная, как у всех, мамка, которая, как обычно, ходила на работу, кормила борщом или котлетами, стояла в очередях, засыпала под программу «Время», копала картошку на огороде, приезжала навестить ее в лагерь с розовыми пряниками в застиранном целлофановом кульке. Но иногда она совершенно менялась, будто кто-то в нее вселялся и заставлял говорить странное, делать пугающие вещи и очень сильно пить. Потом Лушка научилась узнавать наступление этого гадкого времени: сначала мамка просто как бы задумывалась, потом глаза ее становились какими-то слишком медленными. Они часто застывали, словно она или спит с открытыми глазами, или что-то вспоминает, но не может вспомнить, а потом взгляд и вовсе останавливался в одной точке, где ничего интересного не было, но мамка именно в эту точку вперивалась, не отрываясь, словно там ей что-то показывали, и так могла сидеть в кухне, может, целый час. После этого Лушка знала: жди, что мать, как лунатик, встанет, выйдет в дверь, будто кто-то ее позвал, а потом к ночи притащится домой, еле стоя на ногах.

Когда Лушка была маленькой, она пугалась, когда у мамки начиналось *это*, и умоляла ее никуда не ходить, цеплялась за нее, но мамка все равно не слышала, как глухая. Луша ревела от страха, и ей казалось, что все это из-за нее, и она в чем-то, непонятно в чем, тут виновата. Но чем старше она становилась, тем больше привыкала к этому времени безнадзорности, находя в нем свои преимущества. Знала, что отец будет, как всегда, на мамку орать и ругаться, после чего оставит Лушку за хозяйку, даст десятку и пойдет ночевать в заводскую общагу.

Но в тот злополучный день, когда Куриная Жопа перед праздниками пришла к ним с проверкой «жилищных условий учеников», у мамки все началось так стремительно, что это поразило и испугало даже бывалую Лушку.

Матери дома не было: после работы она каждый день стояла где-то в очередях за тем, что из столовки принести не могла, а Лушка, как обычно, тайком рисовала запретной рукой. Она давно уже оставила всякие попытки научиться рисовать правой. Всему остальному через не могу, но научилась, а с рисованием – настоящим рисованием – не выходило никак, словно при этом отключалось что-то важное в голове, чему левая рука служила проводником. Поэтому Лушка стала жить двойной жизнью и, оставив позади все муки совести, даже полюбила волнующее ощущение своей тайны. Тем более что одна дома она оставалась все чаще.

В тот день она, разложив тоненький альбом на своей парте «Федоръ», рисовала историю Зои Космодемьянской, но с необычным финалом. О Зое им подробно рассказывала Лидь Васильна на классном часе, посвященном Дню Победы. Рассказывала хорошо, как очевидец.

– Эти изверги раздели Зою догола! А мороз минус двадцать! И вот она, голая, босыми ногами, идет к виселице по снегу! – Глаза Лидь Васильны стали темны от скорби, и она изображала, медленно переставляя свои толстые ноги в серых полусапожках, как именно Зоя шла. – Она шла, истерзанная девочка, а ноги босые, отмороженные, распухшие! За нас с вами шла!

Мальчишки сидели не дыша. Девчонки всхлипывали. В окно издевательски щебетали глупые птицы. Луша чувствовала ступнями колкий лед, сопереживая Зое.

– Она погибла за нашу свободу и счастье нашей Родины. За вас вот, которые здесь сидят! Готовы ли мы быть верными Родине и защищать ее, как Зоя? Достойны ли мы оказались ее подвига? Стоило ли за нас погибать? Нет, не стоило… – скорбно качала она головой, – взять хотя бы результаты контрольной, последней в четверти…

Хоть бы мать подольше не возвращалась, успеть бы окончить рисунки! Застукав Лушку несколько раз с карандашом в левой руке, мать сразу сильно грустнела и глубоко задумывалась,

но ничего не говорила. А Лушка знала: когда мать сильно грустнеет и глубоко задумывается, жди беды.

Рисунков получилось пять. Вот голую синеватую Зою Космодемьянскую с табличкой на груди ведут к виселице. Вот ей накидывают на голову петлю. Вот она, Лушка, замечательно стреляя из автомата *правой* рукой, точной пулей перебивает веревку, и убитые фашисты валяются на снегу с удивленными лицами. Вот Лушка закутывает спасенную Зою в «жаккардовое» одеяло, и они уезжают на немецком мотоцикле с коляской в партизанский отряд. Вот она в Москве, где за этот подвиг Лушке выдают специальную кругосветную путевку, разрешающую объехать весь мир. Куда хочешь, туда и езжай. Хоть в Англию к Алисе. И она едет на поезде, конечно, в Керчь, а оттуда отплывает на белом пароходе в кругосветное путешествие. И у моряков золотые пуговицы.

Как раз на кульминационном моменте отплытия парохода раздался звонок. Лушка думала, что это мать вернулась. Хотя у нее и был ключ, но она могла его и потерять, как уже не раз бывало.

Засунула рисунки в парту, побежала к двери, открыла и обомлела. На пороге стояли Лидь Васильна и старший школьный пионервожатый товарищ Костя, как всегда, в белой рубашке и синих брюках со стрелками – красивый, как комсомольцы на плакатах в Ленинской комнате, но с волосатой родинкой на румяной щеке.

– Родители дома?

– Не… нет.

– Здравствуй, Речная. Мы с плановым домашним визитом. Когда родители с работы приходят?

– Не знаю. Обычно поздно.

– Ничего, подождем.

И они, слегка отодвинув Лушу, вошли.

Лушка от растерянности предложила им чаю. Лидь Васильна согласилась. Костя осматривался брезгливо, на табуретку опустился с опаской, сначала обтерев рукой. Потом Лидь Васильна обошла квартиру (чего там было обходить!), даже в ванную заглянула, но в парту заглядывать, к счастью, они не стали, хотя Лушка беспокоилась: она не хотела, чтобы увидели ее рисунки с повешенной голой Зоей.

Лидь Васильна делала какие-то пометки в блокноте, который достала из потертого кожаного портфеля, водрузив его на кухонный стол и металлически звякнув замком.

Осмотром квартиры классная осталась довольна.

– Ну что ж, условия вполне удовлетворительные. Место для уроков в наличии. И даже комната своя. Прямо по-буржуйски, – пошутила. – Другие учащиеся имеют куда хуже условия, а учатся лучше. В чем причина, Речная, а?

Лушка стояла, привычно потупив голову и привычно пропуская половину мимо ушей.

Лидь Васильна допила чай, съела два печенья, спрашивала, какой распорядок дня в их семье в будние дни и по выходным и проверяют ли ее родители уроки, бывают ли пьяными, не дерутся ли мать с отцом. «Проверяют, не бывают, да вы что?!»

Все отметили в блокноте, не дождались и ушли. Товарищ Костя вообще ни слова не проронил, не ел и не пил.

Мать вернулась затемно, нагруженная авоськами и, услышав о посещении, затряслась как осиновый лист. Бросила авоськи и даже не стала собирать раскатившиеся по коридору консервные банки («кильки в томате», вкусные).

– Все осматривали, говоришь? Ты их одних оставляла? Оставляла? Говори! – прошептала мать в непонятном ужасе.

– Да нет, вроде. Они чай с печеньями пили. Лидь Васильна в уборную сходила, вот и все.

– В уборную?! – Лицо у матери побелело.

– Да что ты, мам? Унитаз чистый был, ты не думай, я щеткой пошуровала… Условия, записали, «удовлетворительные». Ты что перепугалась-то так?

Лушка ничего не понимала: неужели мать всерьез подумала, что Лидь Васильна с товарищем Костей могли что-то у них утащить?

Мать шептала, и глаза ее бегали по комнате, словно искали выход.

– Записали, говоришь… Куда записали?..

– В блокнот…

Мама посмотрела затравлено.

– Записали… В блокнот… *Нашли. Знают, все знают!*

– Мам, ты успокойся, они полчаса, наверное, посидели и ушли…

Не дослушав, не раздеваясь, прямо в ботах, мамка бросилась в ванную, закрыла за собой глухую дверь, и Лушка услышала какой-то шорох, как будто она там что-то лихорадочно искала.

Когда вышла, руки у нее тряслись, она шептала:

– *Видели*, все видели…

– Мам, да что случилось?

– О чем они спрашивали?

– Как живем, спрашивали, проверяете ли с отцом мою домашку, дневник. Сказала, проверяете.

– Расспрашивали… домашку… Лушенька, дорогая, несмышленыш мой… *не учителя это были*.

– А кто? Мам, да ты очнись! Ты же знаешь Лидь Васильну, на родительском собрании видела, это классная наша. Они в конце четверти у всех по домам ходят, проверяют жилищные условия. И к Катьке из второго подъезда приходили на прошлой неделе.

Про Катьку она наврала, чтобы успокоить мать.

– С обыском приходили… Предупреждение. Что знают обо всем. *Значит, в любой момент…*

– Мам, что у нас брать-то?

– Не учительница это. *Предупреждают… Недолго осталось…*

Мать притянула похолодевшую Лушку к себе, усадила на скрипнувший и накренившийся диван, крепко, до боли, обеими руками прижала к себе. Горькие слезы так и бежали по ее лицу.

– Мам, ты что? Точно Лидь Васильна была. И портфель ее. Я этот портфель у нее сто лет знаю. Плакать-то не о чем. Ничего же не случилось. Они ко всем ходят. К Катьке вон…

Мать словно не слышала.

– Но ты не бойся. Тебя я не отдам. Уговорю. Умолю, на колени стану…

– Мам, какие колени, да кому мы нужны! Успокойся. Праздники скоро, парад. Можно мне два рубля на шары?

На самом деле Лушка хотела закатиться в магазин канцтоваров и художественных принадлежностей, любимейшее место в городе и подкупить рисовального угля.

Лушка тихонько высвободилась, включила в вечно темном коридоре свет и стала собирать раскатившиеся консервные банки.

– О, и шпроты, мои любимые!

Мать не отвечала, а, зажав виски пальцами, раскачивалась, сидя на диване, словно стряслась беда.

Собрав банки с пола, Лушка раскладывала их по полкам в кухне, когда услышала шаги матери в прихожей и как хлопнула за ней входная дверь.

…До прихода отца Лушка успела вернувшуюся мать раздеть, разуть, уложить на диван, укрыть. Не впервой.

После этого злосчастного визита Лидь Васильны у матери началось самое сильное *это*, такого сильного еще не бывало. Все с кем-то шепталась, уговаривала, оправдывалась. А в квартире – никого.

Отец сначала ругался, спал на раскладушке, под окном. А дня через три пришел как-то домой после работы (мать вернулась откуда-то раньше него и лежала на диване лицом к стене) и сказал в отчаянии, решительно:

– Лушка, прости меня, родная, не могу я так больше. Не могу. Перекантуюсь в заводской общаге пока. Нет сил.

Лушка пожала плечами.

И это уже не впервой.

– Ты не думай, я вас не бросаю.

– Я не думаю…

– Телефон вахты в общаге помнишь?

– Помню.

– Звони, если что… И когда матери… того… получшает, позвони.

– Позвоню.

Перед уходом отец купил Лушке две пачки макарон, колбасы «Докторской», пельменей из «Кулинарии», лимонада «Буратино» и денег оставил. Много, три десятки. Наказал школу не пропускать, и чтобы с газом осторожно. Глянул на бесчувственную Татьяну на диване, сказал виноватым голосом:

– Ты хоть жрать ее заставляй иногда, подохнет ведь.

Плюнул и ушел.

Лушка купила в «Канцтоварах» альбомов из хорошей, «шершавой» бумаги на пять рублей семьдесят пять копеек и цветного рисовального угля и рисовала теперь целыми днями. На листе бумаги все было понятно, карандаш давал чувство силы и покоя. Почти всю «Алису» нарисовала заново, не как в книге, ту, какой она жила в ее голове. Особенно хорошо ей удался лес, в котором Алиса забыла все названия и имена, и свое имя. Она долго думала, как показать то, что Алиса все забыла. И наконец, придумала: деревья обступили Алису, будто угрожая и заслоняя все, а Алиса вдруг стала прозрачной, изчезающей. И сквозь нее все стало просвечивать, как сквозь сито. И сразу все ясно. Луша очень любила, когда идеи, которые приходили ей в голову, получались на бумаге.

Мать нужно было дождаться, как бы поздно ни явилась, от порога разуть, раздеть, уложить на диван. И воды, еды какой-нибудь оставить на столе, когда проснется.

Лушка редко высыпалась, но школу не пропускала и контрольные писала прилично. Все равно оставался месяц до летних каникул, и привлекать внимание было нельзя: еще кто-нибудь нагрянет с проверкой, да и где еще найдешь горячие обеды каждый день? И для матери удавалось кое-что от этих обедов в целлофан заворачивать. Отцовских денег тоже вполне хватило, но Лушка дома их не оставляла, постоянно носила при себе. Научена.

Через две недели примерно, *это* мамку отпустило.

Возвращаясь из школы, Лушка еще на лестнице почувствовала запах яичницы с репчатым луком и кусочками черного хлеба. Так яичницу жарила только мать, и Лушка такую глазунью обожала.

– Садись, мышонок, за стол.

Трезвая. Ура!

Мучнисто-серая, как после тяжелой болезни, Татьяна была, однако, в чистом халате, умыта и причесана.

Лушка позвонила отцу, и он вернулся.

И все стало опять хорошо до самого июня. И даже провожать ее в лагерь родители пошли вместе. И мамка шла в бежевых босоножках, которые купил ей отец в магазине «Скороход», и

они не ругались. А когда переходили дорогу, отец взял и ее, и мамку за руки, как маленьких, и Лушке так стало от этого хорошо.

Мать сунула ей кулечек с двумя помятыми, но все равно волшебными зефирами, а отец потрепал по волосам. В общем, из лагерного автобуса Лушка махала им с легким сердцем.

В заводской столовой Татьяне, как обычно вздохнув, задним числом оформили «отпуск без содержания»: работником она была безотказным, а вкалывать «на овощах» среди других поварих охотниц не было.

И зря мамка так тряслась: *никто за ними не пришел* и никто ничего не отнял. А рисунки с Зоей Лушка порвала все, кроме самого последнего, с моряками. Остальные страшноватыми получились.

Глава 6
«Под ноль»

Лушкину идею завить волосы и подхватить их лентой, чтобы стать похожей на Алису, одобрил Чеширский Кот. Он получился у Лушки совершенно как живой и всегда внимательно слушал со стенки гардероба, когда она с ним разговаривала или советовалась. С этого все ее неприятности и начались. Конечно, никакого *вызова коллективу*, как потом матери станут говорить учителя, в Лушкиных действиях не было.

Так вот, тем утром, когда родители ушли на работу, Луша намазала волосы яичным желтком (так когда-то давно делала мама), потом вымыла голову, нагрев в кастрюле воду, и аккуратно накрутила свои крысиные хвосты на бигуди с растянутыми резинками, похожие на дуршлаг. Потом сушила волосы над газовой плитой, балансируя на табуретке. Да, это было нелегко и заняло много времени, но результат превзошел все ее ожидания. Объемные, блестящие, легкие волны она перехватила атласной ленточкой от конфетной коробки – и пыльное зеркало в коридоре подслеповато отразило самую настоящую Алису!

Учились они во вторую смену, но она, совсем забыв о времени, все равно опоздала минут на двадцать.

Луша вошла в кабинет литературы.

Класс коллективно выдохнул. Сурковские глазки увеличились до нормального размера. Куриная Жопа замерла с мелом, не коснувшись доски, а когда ожила, понеслась к директору…

Наказание Лушки за вопиющее нарушение школьной формы происходило так. Куриная Жопа позвонила прямо начальнице Татьяниной столовой посреди рабочего дня, и та заорала в клубящиеся пары кухни из распахнутой двери подсобки-кабинета:

– Таньк, тебя в школу вызывают, да не задерживайся. Утреннюю раздачу на завтра готовить некому.

– Зачем вызывают-то? Что случилось?! – с расширенными глазами спросила Татьяна и, отведя руки за спину, уже нервно дергала тесемки синего фартука, которые никак не развязывались.

– Не сказали. Давай, живо! Одна нога здесь, другая – там. И сразу обратно. И так прогулов у тебя накопилось. Смотри у меня, вылетишь как пробка со строгачом дисциплинарным.

Татьяна, так и не сумев развязать фартук, набросила свое «семисезонное» в катышках старенькое пальто прямо на кухонную спецодежду и понеслась в школу под тучами, угрожающими дождем.

Лушка уже давно стояла посреди кабинета, потупившись.

Уже без ленты в волосах. От волнения мать даже не заметила Лушкино преображение, но, увидев дочь живой и невредимой, немного успокоилась. Она тяжело дышала от бега, и руки у нее ходуном ходили, поэтому сцепила их на животе, аж костяшки побелели. Получилось умоляюще. Сесть ей не предложили.

– Что натворила? Говори.

Лушка хорошо видела немигающие взгляды директрисы и Куриной Жопы, брезгливо наблюдавших, как мать старалась унять дрожь своих красных обветренных рук.

Проклятым алкоголикам надо запретить рожать. Только новая химичка Ольга Кирилловна улыбнулась Лушке ободряюще и даже подмигнула: *не бойся*, – когда никто не видел.

Было около четырех, солнце в высоких окнах директорского кабинета скрылось за наползающие тучи, словно возвещая грядущие космические метаморфозы Лушкиной судьбы.

– *…сегодня завитые волосы в одиннадцать лет, а завтра что?*

– …рисовала под партой на уроке литературы.

– …помада, выпивка, сигареты, мальчики – по наклонной плоскости?

– …индивидуалистка, не считается с товарищами по классу.

– …не участвовала в оформлении зала к неделе знаний.

– …опоздала на политинформацию.

– …рисовала под партой на уроке математики.

– …и это поведение советской пионерки?

Снова в трудную минуту Лушка стала Алисой, и в голове зазвучало: «Они *думают хором*, совсем как насекомые в поезде».

Учительские голоса и впрямь стали какими-то тоненькими и смешными. И Лушка совершила ужасную ошибку – она улыбнулась.

Что тут началось!

– Вы посмотрите, она смеется, ей смешно!

– Смеется в лицо педколлективу.

И наконец, самое страшное, от чего мать вздрогнула и уставилась на Лушку уже каким-то невидящим взглядом:

– Возможно, совету дружины следует пересмотреть членство Речной в пионерской организации…

– В ленинской *пионерской организации!*

И вот тогда губы у матери совершенно слились с сероватой бледностью лица, и она впала в ступор, от которого Лушка уже сейчас, на улице, пыталась ее пробудить, но никак не могла.

В молчании они с матерью вышли из школы через железные ворота школы. Лушка плелась, низко опустив голову, и была готова к любым подзатыльникам.

– Мам, ну прости. Я каждый день посуду мыть буду. Честное слово.

Оттого что мать шла рядом, встревоженно дыша, не говоря ни слова, Лушка поняла, что дело плохо.

По улице Ленина под желтыми липами спешили прохожие. На тротуаре стояла длинная очередь за виноградом, который продавали из ящиков. Над виноградом летали осы, люди в очереди от них отмахивались и ругались. Луша думала, что вот никому из людей вокруг нет дела до того, какой печальный сегодня день. Вот, например, стоит в очереди носатенькая беременная девушка, она полностью поглощена книгой, обернутой в газету. Какой-то дядька в плащеболонья несет на почту фанерный посылочный ящик с расплывшимися фиолетовыми буквами адреса и не знает, как тяжело Лушке. Ковыляет хромая старуха в мальчишеском пальто и заячьей ушанке. Едут два набитых битком автобуса и один совершенно пустой. Стайка алкашей-баклажанов курят у черного входа в продуктовый магазин и хохочут хриплым заразительным смехом. И никому нет дела до Лушкиной беды.

– Ну что ты молчишь? Ну я же сказала, что больше не буду. Ну не молчи.

Мамка шагала как лунатик.

Конечно, срочный вызов в школу из-за Лушкиного поведения был сейчас для матери совершенно лишним в ее и без того расхристанном состоянии.

Еще в августе, вернувшись из пионерского лагеря и открыв дверь своим ключом, Лушка поняла, что все плохо. Мамка спала на незастеленном диване-кровати. Во время рабочего дня. В одежде. В сухой раковине – посуда с присохшей едой. Мусор не выносился неделю, наверное, но водкой в доме не пахло. Мать открыла глаза, увидела Лушку, закрыла их опять, потом опять открыла с недоумением и спросила, что она здесь делает и почему ее отпустили из лагеря раньше времени. Лушка ответила, что сегодня двадцать шестое, лагерь закрылся. Следующий вопрос не оставил у Лушки сомнений в самом худшем:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.